

*В.И. Чулков*

## ЗНАК ЭПОХИ

**Владимир Высоцкий. Нерв** (М., Современник, 1981, тир. 55000 экз.). Этот первый сборник стихотворений Высоцкого, официально изданный в СССР, я выменял у книжного барыги на трехтомник Ивана Ефремова. И, не веря в удачу, рванул в общежитие УдГУ на Удмуртской, 226.

Там, запершись в комнате на случай, если барыга опомнится и захочет меняться обратно, я разодрал целлофан, в который был запаян сборник, и начал лихорадочно перелистывать страницы. Сам по себе вид текстов Высоцкого, отпечатанных в государственной типографии, производил ошеломляющее впечатление.

На следующий день я принес сборник на родной филологический факультет и торжественно выложил его перед заведующим кафедрой русской литературы Борисом Осиповичем Корманом с ликующим: «Вот! Высоцкого издали!».

Б.О. взял сборник, как берут в руки новорожденного – трепетно и с опаской (не уронить бы). Слепой процентов на 90, он долго водил по обложке, корешку, обрезу чуткими пальцами человека, привыкшего читать по Брайлю.

Как и я днем раньше, убедившись, что перед ним, действительно, официальное издание, он удовлетворенно улыбнулся в усы и положил книгу перед собой.

Свидетелями этих манипуляций были я и одна дама с нашей кафедры. Когда книга оказалась на столе, она встрепенулась: «Борис Осипович, дайте мне посмотреть». Б.О. быстрым движением накрыл книгу ладонью: «Ну что вы?! Зачем она вам? Автор – человек идейно не выдержанный, поет песни сомнительного содержания. К тому же пьющий, и жена у него – иностранка». И подвинул книгу мне: «Уберите, Виктор Иванович».

Надо сказать, что Б.О., помимо многих других несомненных талантов, обладал даром подражателя и пародиста. И в этот раз он настолько точно воспроизвел интонации и стилистику секретаря парторганизации нашего университета, что дама вздрогнула и на всякий случай ретировалась.

Тогда я не до конца понял смысл сцены, разыгранной Б.О. Зато сейчас она представляется мне знаком целой эпохи. Б.О. очень любил Высоцкого, считал его большим поэтом и свободно цитировал все на тот момент известные его песни. И выстроил свою концепцию того, что можно назвать художественным миром поэта.

Он изложил мне ее, когда мы с ним в Москве на Рижском вокзале ждали поезда на Даугавпилс, – ехали на конференцию. Молодой и самонадеянный идиот, я не записал эту импровизацию по свежей памяти. А потом события на кафедре начали развиваться с нарастающим ускорением и... И все кончилось 2 марта 1983 г.

Но кое-что я все-таки сумел запомнить, что-то реконструировать из других разговоров с Б.О., а что-то и «дописать», исходя из логики кормановских приоритетов. И вот делюсь.

В центре его концепции, как помню, была мысль о том, что человек Высоцкого – это «лермонтовский человек», который утверждает и защищает себя в принципиально чужом ему мире.

Разница в том, что одинокий протестант Лермонтова понимает мир как тотально и бесповоротно чужой. Что позволяет ему самоутверждаться за счет этого мира и людей, с которыми сводит его судьба, забывая/не зная о тоже страдающих ближних и дальних. Страдающих не только от метафизического зла и его производных – политического всевластия и социального неравенства – но и от самоОлермонтовского человека.

У Высоцкого «лермонтовский человек», сохраняя свои основные черты, интеллектуально перерабатывает и нравственно переживает катастрофический опыт XX века. Опыт тотального обесценивания человеческой личности и ее жизни по абсолютно произвольным основаниям – классовой или расовой принадлежности, социальному статусу или политическим убеждениям.

Этот опыт соблазняет человека романтизацией идеологически обоснованного зла и, одновременно, жестоко, под угрозой смерти понуждает человека отказаться от себя ради полного растворения в социуме. Но даже принадлежность к господствующему сегменту системы не защищает и не спасает от губительного произвола, ставшего инструментом управления государством, обществом и человеком.

В этом смысле XX век поощряет «лермонтовского человека» на самоизоляцию и, как ее итог, на духовную смерть. Но тот же XX век диктует и другое: чем сильнее давление мира, чем он непрогляднее и непригляднее, тем острее потребность найти в нем позитивные начала, тем насущнее желание поддержать их и помочь им прорасти.

Эта работа требует духовных сил и интеллектуального мужества. Но иначе – нельзя.

Сегодня, узнав о судьбе Б.О. намного больше, чем в 1981 г., перечитав его работы новыми глазами, я понимаю, что он сам был «лермонтовским человеком» человеком XX века.

Только однажды он публично заявил о том, что Маркс и Энгельс не были узкими специалистами в литературоведении. На дворе был 1947 г., и Корман моментально стал безродным космополитом и низкопоклонником, твердо стоящим на антипартийных позициях.

Больше он подобного себе не позволял. Но не позволял и знаков согласия с системой. И в русской классической литературе, и среди писателей XX века он искал и безошибочно находил авторов и тексты, которые, по его мнению, были посвящены главной теме – «самостоянию человека» в самых неблагоприятных для этого условиях.

Помню, как он толковал смысл песни Высоцкого «В сон мне – желтые огни»: казалось бы, всё кончено, человеку не на что опереться («всё не так», «ничего не свято»), и тогда он живет процессом перебора раз за разом не подтверждающих себя ценностей, как утопающий живет отчаянным рывком к поверхности воды за последним глотком воздуха перед окончательной гибелью. Тут важна до последнего не умирающая надежда на спасительность этого рывка.

Он сам жил именно так. Мы все (и «коллеги», и «ученики») вокруг него были детьми той системы, от которой он однажды отшатнулся раз и навсегда.

«Коллегам» он не доверял и их сторонился хотя бы потому, что они в своем большинстве сознательно сделали свой выбор, сумели его оправдать, получили за это определенные бонусы и были способны на многое ради следующих поощрений.

Такие «коллеги» тоже чужали в нем чужого и в меру сил и личных качеств увлеченно портили ему жизнь.

«Учеников» он не знаю по каким критериям (часто очень больно ошибаясь, но не оставляя усилий) отбирал и приближал, осторожно и аккуратно (опасаясь не столько за себя, сколько за наши слабенькие умишки и душонки) погружал в свой и чужой опыт самоутверждения и самоопределения.

Владимир Высоцкий был дорог ему тем, что здесь и сейчас ярче и убедительнее других доказывал: мир и человек не исчерпаны своими уродливыми и жестокими проявлениями, зло не тотально. И нужно уметь жить, думать, чувствовать сквозь или поверх этого зла.

Высоцкий сконцентрировал и выкрикивал, выхлестывал, выставлял в своих песнях то, что Корман обдумывал и формулировал в своих статьях, книгах, лекциях на другом языке – языке литературоведения.

Которое становится достойным внимания сразу после того, как преодолевает свои претензии на научность и начинает ориентироваться на убедительность и человеческую состоятельность.

«Нерв», поблуждав по разным рукам, благополучно исчез из моей библиотеки. А первая встреча Б.О. Кормана с этим сборником, разыгранная им сцена и вставшая за ней судьба одного из лермонтовских людей XX века остались со мной как знак эпохи и один из опорных моментов в моей жизни.